



Амалия Бланк

(26.7.1910 – 20.4.2006)

За основу взята статья Нелли Кузнецовой «Оглянись: там жизнь твоя...», опубликованная в газете «Эстония» 9 сентября 1995 года. Статья приводится полностью. Фото Файви Ключика и из архива А. Бланк.

Курсивом добавлены отрывки из интервью, данного Амалией Бланк Элле Левицкой из организации Sentropa спустя 10 лет - в сентябре 2005 года. Полный текст интервью на английском – см. на этом сайте. Перевод на русский Рут Брашинской.

Встреча с Амалией – это подарок судьбы. Эта удивительная женщина в свои 95 лет молода душой, несмотря на многие потери и трудную жизнь. Она так сильна духом, так оптимистична и разумна, что трудно поверить в ее почтенный возраст. Амалия небольшого роста. Она все еще очень женственна, с накрашенными губами и ниткой жемчуга на шее; на голове – укладка. У нее блестящие седые волосы и молодые красивые глаза. Амалия умеет находить радость в каждом моменте своей нелегкой жизни. Даже молодые люди могут позавидовать ее мгновенной реакции и живости ее речи. Ей есть что вспомнить. О ней можно было бы написать роман.

«Хроническая иностранка», - сказала она о себе и засмеялась. И я засмеялась вместе с ней, так заразителен и легок был этот смех. Хотя было, в общем, совсем не смешно. За коротенькой этой фразой явственно маячил призрак беды, долгих страданий...

...Она родилась в Польше. Хотя жить долго в этой стране ей не пришлось.

Наша семья жила в Польше, недалеко от границы с Германией, в небольшом городке в 500 км от Варшавы. У меня очень отрывочные воспоминания о том периоде нашей жизни. Я помню, что недалеко от нашего дома были армейские бараки. По вечерам солдаты пели красивые песни. Мы были бедными. Папа был парикмахером, и его заработков едва хватало на жизнь. Мама была швеей. Мы снимали квартиру в разваливающемся доме, как и большинство домов на нашей улице. Мы питались, чем бог пошлет.

Когда началась Первая мировая война, папу должны были забрать в армию. Самым страшным для него было не то, что его могут убить, а что он может убить кого-нибудь. Чтобы избежать армии, папа стал пить какое-то зелье, от которого у него стали дрожать руки. С такой хворью его не могли мобилизовать. Позже его руки продолжали дрожать, но несколько слабее. Совсем дрожь не ушла. Папа как-то приспособился и продолжал работать парикмахером.

Мама растила детей и работала швеей. Она была очень умной женщиной. У нее был хороший вкус. Я была старшим ребенком, родилась в 1910 г. Мое имя было Амалия, но дома меня ласково звали Мали. Моя сестра Фанни родилась в 1911 г. и брат Соломон – в 1913 г.



В 1919 году семья, где было трое маленьких детей, бежала от жутких, страшных своей жестокостью и безжалостностью еврейских погромов. Бежала в Германию...

В 1900-е и 1910-е гг. в Польше были еврейские погромы. Потом все успокоилось, и они начались снова в 1919 г. Сторож дома, где мы снимали квартиру, Франек, был настоящим бандитом, пьяницей и хулиганом, но он боготворил, непонятно почему, мою маму. Он готов был стоять перед ней на коленях. Естественно, Франек был связан с бандами, участвующими в погромах. Один раз Франек позвал мою маму и сказал: «Сара, будет сухой погром». «Сухой» погром означало, что убивать евреев не будут. Погромщики будут разрушать дома, грабить, бить людей, но не убивать их.

Папа очень нервничал и предложил забаррикадировать двери, чтобы погромщики не могли попасть к нам. Мама же сказала, что надо сделать наоборот: держать двери широко открытыми. Погромщиков бы это потрясло, и мама хотела этим воспользоваться. Она так и сделала: оставила дверь широко открытой.

На следующий день на нашей улице появилась толпа погромщиков. Я не знаю, сколько их было. Впереди был их предводитель. Они зашли

в нашу квартиру. Мама приветствовала их с улыбкой и просила чувствовать себя, как дома. Жаль, что не хватило стульев для «уважаемых гостей». Пусть садятся, где хотят. Погромщики смотрели друг на друга с недоумением. Они были ошарашены таким приемом. Мама продолжала приветливо предлагать, чтобы они брали все, что хотят: «Вам не нужны штопаные детские чулки? Возьмите их. Или залатанные платья моих дочерей? Пожалуйста!» Погромщики молчали, и никто из них не двигался. Мама взяла коробку сигарет. В то время это был дефицит, но мама запаслась ими. Она стала предлагать погромщикам сигареты, сокрушаясь при этом, что больше у нее ничего для гостей нет. Они взяли сигареты, их предводитель дал знак, и погромщики испарились.

Через две или три недели Франек снова пришел к маме. Он очень нервничал и сказал, что в течение нескольких дней будет «мокрый» погром, и нам надо бежать. Мы жили на границе Польши с Германией, и мама решила, что нам надо бежать туда.

"Это все мама..." - сказала Амалия Самуиловна и посмотрела на портрет, висевший высоко на стене, над книжными полками. Нежный профиль красивой женщины, задумчиво и чуть отрешенно глядевшей куда-то вдаль... Неужели это она задумала и организовала весь этот отчаянный побег через две государственные границы?



«Почему именно в Германию?» - спросила я у Амалии Самуиловны. "Да просто ближе... Но главное, в Германии были спартаковцы..."

В самом деле, в Германии уже состоялась к тому времени всеобщая забастовка. Уже прошло знаменитое Кильское восстание матросов. В ноябре 1918 года Германия была объявлена республикой. Рабочие под руководством спартаковцев начали создавать Советы...

Знала ли об этом бедная еврейская семья? "Мама надеялась, думала, что такого, как мы пережили, там не может быть", - сказала Амалия Самуиловна и надолго замолчала.

Вспоминала ли она, как человек, который обещал переправить их в Германию и уже взял за это деньги, вдруг передумал и отказался? Пока готовились, пока собирали эти деньги, ситуация в Германии переменялась. В начале 1919 года были убиты Карл Либкнехт и Роза Люксембург...

Но выбора не оставалось. Отец и маленький брат уже были на той стороне. А позади...

Конечно, Амалия Самуиловна не могла знать всех подробностей того отчаянного плана, который придумала мать. Всех тех провалов, и отчаяния, и надежд... Она была слишком мала тогда. Но всю жизнь она ломнила, как плакала мать, как совала им в руки цветы, как, обнимая, шептала: "Запомните, я не ваша мама. Помните, помните..." И как потом высоким, срывающимся голосом убеждала пограничников: "Это дети с той стороны. Они заблудились. Они просто собирают цветы..." А с германской стороны уже бежала незнакомая женщина: "Дети! Это мои дети... Отдайте их".

Потом в каком-то доме их обнимал отец. И маленький брат прыгал рядом. Быть может, это и была ее самая первая роль?

Все произошло точно так, как придумала мама. Пограничники раздвинули колючую проволоку, чтобы пропустить нас. Женщина отвела нас к папе. Вскоре и мама присоединилась к нам.

Это было еще одно блестящее представление, придуманное и исполненное мамой. Она понимала, что переходить границу ночью опасно, потому что могла начаться стрельба. Это надо было сделать при дневном свете. Маме было рискованно переходить границу там, где это сделали мы; ее могли бы узнать. Поэтому она нашла место, где можно было перейти ручей вброд – вода была не выше колена. Мама скатала свою перину и стала переходить границу в открытую.

Конечно, ее остановили и спросили, куда она направляется. Мама только повторяла, что она хочет навестить могилу своей матери. Пограничники привели ее к начальнику и объяснили, что случилось, чтобы он решил, что делать с мамой. Начальник стал задавать маме вопросы, и на все его вопросы она отвечала одной и той же фразой: «На могилу моей матери». Начальник продержал ее какое-то время, а потом отпустил – что можно сделать с ненормальным человеком? Пусть эта сумасшедшая женщина идет на могилу своей матери со своей периной, потому что похоже, что она действительно не в себе. Маме позволили перейти границу. Она нашла нас в деревне, где мы были с папой. Потом мы поехали в Берлин, где начали новую жизнь. В Польшу я не вернулась.

В Берлине мать долго болела и потом умерла. А на плечи Амалии легли все житейские тяготы, заботы о семье. К тому времени она окончила народную школу. Помнится, ее учительница сказала матери: "Я больше ничего не могу дать вашей дочери. Постарайтесь устроить ее в среднюю школу". И мать долгим взглядом посмотрела на девочку. Что в нем было, в этом взгляде? Гордость? Отчаяние? Предчувствие близкой и окончательной разлуки? Ей не было еще и семнадцати, когда она осталась совсем одна. Без профессии, без работы, без семьи... Перебивалась случайными заработками, пока не оказалась совсем больной. От голода, перенапряжения, нервного истощения.

Это было в 1931 году. "Союз друзей Советского Союза", существовавший тогда в Германии, взялся организовать поездку обнищавших и больных людей на лечение в СССР. В числе первых

медицинская комиссия союза зачислила в эту группу Амалию Бланк. Могла ли она мечтать об этом?

Группу привезли в Мисхор, в санаторий "Красное знамя". Амалию внесли в палату на руках. Она была слишком слаба. Но уже через несколько дней на концерте художественной самодеятельности она выскочила на сцену. И танцевала, танцевала... "Цыганочку".

"Господи, откуда же вы знали эту самую "Цыганочку"? Откуда вы взяли эти характерные движения? И как вы смогли пройти на сцене в этом бешеном ритме?" "Не знаю... Был такой душевный подъем. А "Цыганочка"? Где-то что-то такое видела..."

Она не знала русского языка. Слышала только возгласы. Уже потом ей рассказали, что люди, столпившиеся у сцены, говорили: "Ох, как она хороша..."

Быть может, она и в самом деле была хороша, эта истончившаяся от голода иностранная девочка, самозабвенно танцевавшая на чужой сцене под чужим небом. Что почувствовали в ней окружавшие ее люди? Вспыхнувшие надежды? Упоенность своей молодостью, весельем, игрой? Или силу природы, смелость, без которой не могла бы сложиться ее дальнейшая судьба?

Быть может, уже тогда в Крыму она начала думать, что должна остаться в Советском Союзе? До прихода Гитлера к власти оставалось полтора года. Но уже гремели возгласы в берлинских и мюнхенских пивных, ходили по улицам молодчики. И жизнь снова становилась опасной. Фашизм наступал.

Для чего же меня спасли здесь, думала она, неужели для того, чтобы там меня снова гоняли по грязным подвалам? Тогда еще ничего не знали о будущих концентрационных лагерях, о массовых расстрелах евреев. Но...

В Москве, в гостинице, где они жили, дожидаясь оформления документов на выезд, она решила, что пойдет в Коминтерн. Поразительно, но она сумела пробиться к Вильгельму Пикю, который был тогда руководителем Коминтерна. Секретарша была потрясена, когда увидела на пороге приемной худенькую девчонку, которая решительно заявила, что никуда не уйдет, пока "не переговорит с товарищем Пиком". Она действительно просидела несколько часов, упрямо сжав зубы и не поддаваясь на уговоры секретарши, пока не вышел освободившийся после совещания Вильгельм Пик. Усмешливо блестя глазами, он строго спросил, чего же она хочет. И даже как будто не удивился, когда она сказала, что хочет остаться в Москве.

...Она уходила, счастливая, унося с собой бумагу с печатями и подписью Вильгельма Пика. В бумаге говорилось, что ей разрешается остаться в Москве вплоть "до выяснения вопроса" и что она может по-прежнему занимать место в московской гостинице. За счет Коминтерна...

Но что же дальше? "Делегация больных" уехала в Германию, она осталась одна. Без денег, без работы, без жилья. Не могла же она вечно оставаться в гостинице... И тогда она вспомнила про рекомендательное письмо к жене сына Клары Цеткин, которое еще в Берлине дала ей немецкая писательница Берта Ляск. На всякий случай...

Впрочем, встретили ее в доме Милы Цеткин неласково. "Не думаете же вы, девушка, что сможете здесь ночевать..." Однако подсказали семью, где требовалась няня. Не то, конечно, чего ей хотелось. Но все же был кусок хлеба и крыша над головой. Она сменила еще несколько мест работы, пока с отчаянием не поняла, что время уходит, уходит жизнь, а она все остается в уборщицах. А мечта... До нее все так же далеко, как было прежде.

Мечта? Блестя глазами, как, наверное, в те далекие годы, Амалия Самуиловна стала рассказывать мне, как в 1928 году чудом попала на спектакль Государственного еврейского театра, приехавшего на гастроли в Берлин, как увидела на сцене Михоэлса. Это было потрясение...

Вы не поверите, говорила она, но я прорвалась в примерную к Михоэлсу. И когда он удивленно повернулся ко мне, - торопясь, задыхаясь от волнения, выпалила: "Возьмите меня с собой, я хочу быть актрисой..." "Понимаю, деточка, - серьезно сказал Михоэлс. - Взять с собой не могу. Но если хочешь, давай посмотрим, что ты умеешь..." И он предложил Амалии представить себя в одиночной тюремной камере. Не знаю, что случилось со мной, говорила Амалия Самуиловна. Она



почувствовала, как стены сдвинулись. Она ощутила духоту камеры. Стало трудно дышать. Она подошла к окну, посмотрела на далекое небо. Словно бы про себя, глухо сказала несколько слов. Потом почувствовала, что Михоэлс ее обнимает: "Ты можешь быть актрисой, девочка..."

Она помнила об этом все долгие трудные годы. Наверное, это и давало ей силы жить. И теперь в Москве она решилась снова позвонить Михоэлсу. Услышав немецкий язык, секретарь не усомнился. Могло ли ему прийти в голову, что великому Михоэлсу звонит бездомная, одинокая девчонка?

Конечно, он не помнил той давней встречи в Берлине. Но посмотреть, послушать ее согласился. "Приходите в театр..." Он был тогда художественным руководителем театра. "Нет, мне это не подходит..."

Даже по телефону было слышно, как поразился Михоэлс. "Почему?" "У вас будут звонить телефоны, вы будете каждую минуту хватать телефонную трубку. К вам будут рваться актеры, работники театра. До меня ли вам будет? Нет-нет, лучше уж в скверике..."

"Но скверик не подходит мне", - рассмеялся в телефонной трубке Михоэлс. И пригласил к себе домой...

Не знаю, то ли время было такое, то ли люди были другими. Но великий Михоэлс, прославленный на весь мир актер и режиссер, вот так запросто пригласил к себе в дом никому не известную девчонку. Только потому, что она хотела быть артисткой...

Он сам открыл ей дверь, помог снять старый, рваный, дрянной плащик, как будто это было норковое манто. Пригласил в свой кабинет... "Скажите, - спросил он, выслушав ее сбивчивую речь, - вы знаете, как делается стол?" "Нет, - недоуменно ответила она, - я ведь не столяр". "А как делается роль, значит, знаете. И специалистом быть не надо?" Он сказал, что ей надо подготовиться, осенью сдать экзамены в театральное училище. Тогда будет видно... Осенью? - поразилась она. Да ведь еще только апрель. "Я не могу ждать так долго..."

Она и сейчас, через шестьдесят лет, удивляется, как и чем смогла тогда убедить его. Но через несколько дней для нее одной организовали приемные экзамены. Педагоги, члены специально созданной комиссий, пришли в зал прямо с занятий. Вместе с ними сидел и сам Михоэлс.

Ну-с, сказал он, что вы нам покажете? «Не знаю», пролепетала она. "А что такое "экзамен" - знаете?" Ей было мучительно страшно. И стыдно... Неужели великий Михоэлс собрал здесь всех этих занятых людей ради нее, нахальной девчонки, ничего не умеющей и не знающей ничего?

"Ну, что ж, маэстро, - сказал он лысому человеку, сидевшему у рояля, - сыграйте, пожалуйста, вальс..." И выжидательно посмотрел на Амалию. Она поняла, что вот сейчас и случится самое главное, именно сейчас и решится ее судьба. "Вряд ли Михоэлс хочет знать, умею ли я танцевать вальс..." И она придумала сценку.

В это трудно, быть может, поверить, но и сейчас, через шестьдесят с лишним лет Амалия Самуиловна помнит, что и как она делала на том странном, необычном экзамене. Она помнит все этюды, которые ей предлагались. Она помнит интонацию, с которой Михоэлс сказал ей, что она принята... сразу на второй курс. Она даже повторила эту интонацию. И сама рассмеялась, легко, зажигательно, словно и не было этих шестидесяти лет.

Я пришла в школу в назначенный день. В коридорах было полно учеников школы: это была сенсация, просмотр был организован из-за одного человека! Я зашла в комнату, где сидел совет. Как мне было страшно! Только там и тогда я поняла, что со мной происходит. Дверь за мной закрылась, и Михоэлс спросил, с чем я пришла. Я сказала, что не знаю. «Зачем Вы пришли?» - спросил Михоэлс. Я сказала, что не представляю себе, как обнаруживается талант актера. Михоэлс сказал, что они найдут пути обнаружить его, и посоветовал мне прочесть что-нибудь. Я прочла стихи Гейне по-немецки.

Потом Михоэлс дал знак лысому мужчине за роялем, и я услышала вальс. Я не имела представления, что я должна была делать. Хорошо, я не думала, что он хотел, чтобы я танцевала вальс. Это было бы смешно. На что он намекал? Я замешкалась на секунду, а потом начала импровизировать. Я села на стул и представила себе, что я на вечере танцев, а накануне у меня случилась размолвка с моим любимым. Его не было в зале, и я сидела и смотрела на танцующие пары. Может быть, он где-то здесь? Потом открылась дверь, и я вздрогнула: это он? Нет. Я села и была подавлена, как цветок без солнца. Это была моя первая импровизация.

Музыка не кончалась, и, в конце концов, я сказала, что у меня нет сил. Михоэлс сказал, что быть актером – это пот, слезы и тяжелая работа. Он распорядился начать сначала. Мелодии следовали одна за другой, и мне надо было думать, как не подкачать.

В конце концов, он сказал, что у него больше нет вопросов, и спросил других членов совета, нет ли у них заданий для меня. Режиссер театра, как я узнала позже, Эфраим Ройтер, попросил меня сыграть фразу: «для одних людей жизнь – это цветущий сад, а для других – болото». О боже, что мне делать с этой газетной фразой? Ужас! Я представила себя на приеме с бокалом шампанского – счастливой и богатой девушкой, для которой жизнь – это цветущий сад, и тысячи людей, для которых жизнь трудна. Я не помню всего, что я делала, только последнюю сцену. Я села на стул и представила себе, что передо мной пишущая машинка, и редактор диктует мне какую-то фразу. Я повторяла эту фразу без интонации, пауз и т.п. Потом была большая пауза, и Михоэлс попросил меня подождать в коридоре, пока совет будет обсуждать мой показ

Я не могла открыть дверь, т.к. с другой ее стороны толпилось много учеников школы. Наконец, мне удалось выйти, и все стали аплодировать и кричать: Сара Бернар! Я была просто без сил после просмотра и была уверена, что они дразнят меня. Я разрыдалась. Девочки сказали, что никто не хочет обидеть меня, что я играла очень хорошо. Из комнаты вышел Михоэлс. Он взял меня за руку и медленно пошел со мной вдоль коридора. Он жевал жвачку, замолкал надолго: «Знаете... Хорошо... Однако... Вас приняли на второй курс!»

Вот так она и стала ученицей великого Михоэлса. Учила попутно еврейский язык [идиш – М.Р.]. Учила русский... «По вывескам», добавила она. И снова рассмеялась, как смеялась, наверное, в те далекие молодые годы.



На выпускном экзамене она сыграла Лауренсию в «Овечьем источнике», вложив свой трагический дар, свой, хоть и небольшой, но горький жизненный опыт в призыв к свободе, к отмщению.

...Михоэлс ждал ее в свой театр, но, ко всеобщему удивлению, она отказалась от уже готового назначения. Почему? Спросил Михоэлс. И со слезами она стала говорить, что ничего на свете так не хотела бы, как работать в его театре, работать с ним и под его руководством. Но ей уже 26 лет. У нее нет времени, чтобы постепенно становиться актрисой в столичном театре. Пока она будет говорить на сцене "Кушать подано", уйдет два года, потом еще два на маленькие роли с десятком слов. А она хочет работать в полную силу, в меру своих возможностей. Она хочет играть роли, о которых мечтала. Она хочет наверстать все, что было упущено, что было недодано ей немилостивой судьбой. Михоэлс молчал. Соглашался? Сожалел?

Во время учебы в школе драмы я вышла замуж. Я встретила своего мужа Илью Колтынюка в школе. Он учился на режиссерском отделении. Мы были ровесниками. Он родился в Одессе в 1910 г. Он приехал в Москву в школу Михоэлса после окончания средней школы. Я не знала никого из его родных. Оба мы были одинокими, и нашли друг в друге тепло, которого нам не хватало. Мы зарегистрировались в ЗАГСе, а свадьбы не было. Нам дали небольшую комнату в общежитии, которая стала нашим первым домом. К тому времени я получила советский паспорт и стала гражданкой СССР.

В Советском Союзе было 13 еврейских театров, и меня направили в еврейский театр столицы Азербайджана, Баку. Мой муж попросил направление туда же. Мы уехали: начинающий режиссер и начинающая актриса.

Вспоминала ли она об этом через 12 лет, в страшные дни гибели Михоэлса? Он был убит тяжело, зверски. И стоя у его гроба, в театре, где она могла бы играть, всматриваясь в мертвое лицо, на котором гримом пытались скрыть следы предсмертных мучений, она страдала, как страдают, провожая самого близкого человека. А рядом рыдал Завадский. Тяжко дышал переполненный людьми зал. И конная милиция дежурила на улицах.



Война застала ее в Львовском еврейском театре, где она была одной из ведущих актрис. Она готовилась играть Джульетту в "Ромео и Джульетте". Ее портреты были расклеены по всему городу. И она волновалась, не спала ночами. Спектакль ожидался, как большое событие.

Во Львове собралась тогда украинская, польская, русская интеллигенция. Многие бежали из соседней Польши от гитлеровских войск. Но еще думалось, что все обойдется. Еще надеялись...

Не обошлось... Из Львова пришлось уходить, бросив все. Вы видите, горько сказала Амалия Самуиловна,

даже фотографий почти нет. Не успели захватить с собой. До того ли было...

Жизнь, казалось, оборвалась на самом взлете. Собственно, так и было. Никогда уже в ее жизни больше не было таких безоблачных, счастливых дней, такой полновесной актерской работы...

Она преподавала в театральном училище в Ташкенте, вела народный театр в Куйбышеве, работала со слепыми самодеятельными актерами. Может быть, это и были самые наполненные годы в ее послевоенной жизни. Работать было трудно. Но так хотелось помочь этим обездоленным людям, обогреть их. Она отдавала им всю свою душу. Знакомые говорили ей: разве это ваш масштаб? А она радовалась когда, встречая ее, слепые ее ученики старались дотронуться до ее руки, плеча, пытаясь определить, в каком настроении она пришла, в чем одета. Быть может, эта ответная любовь и поддерживала ее?

А профессиональная сцена... Она как будто все дальше отодвигалась от нее. Кому-то мешал ее едва заметный акцент. Или, может быть, фамилия? В стране гремело "дело врачей".

Только один директор Филармонии рискнул взять ее на работу. "Плевать я хотел на ваш "акцент", - сказал он ей грубовато, но искренне. - Мне нужна актриса такой силы, как вы..." И она выступала в концертах. Для нее специально писали тексты.

На одном из концертов ее предупредили: не стоит выходить на сцену. В зале - "пивная" и "семечковая" публика. Конферансье сказал: я вас слишком уважаю, чтобы слушать, как начнутся издевательства и свист. Но когда недобрые реплики посыпались на одну из участниц концерта, хорошую и умную певицу, Амалия Самуиловна не выдержала. Она выбежала на сцену в ярости. И начала читать... О девушке, которая, рискуя собой, каждый день балансируя между жизнью и смертью, убивала фашистов. И все-таки была схвачена. В свои последние минуты она просталась с жизнью, с солнцем, с людьми. И читая ее монолог, произнося со сцены эти последние слова, Амалия чувствовала, что зал дышит вместе с ней. Потом, когда она замолчала, кто-то прочувствованно сказал: "Ох, здорово читаешь, зараза..." И все захлопали и даже начали подниматься с мест. А конферансье, который вел концерт, усмехнулся: Ну сегодня вы получили высшую оценку. Такую никакой профессиональный критик не даст..."



Всю жизнь театр, сцена были ее семьей, домом. Но потом она все-таки вышла замуж. Один из ее друзей, потерявший жену, позвал ее на помощь. Она приехала в Таллинн и... осталась. К тому времени Борис Тевьевич Ниский перенес два инфаркта. Потом случился инсульт. Еще один... И она ухаживала за ним самоотверженно, удерживая на этом свете всей силой своей души, всей силой своей заботы. Они прожили вместе 15 лет. И четыре года назад она все-таки его потеряла.

Она попросила меня сказать на этой газетной странице несколько слов от ее имени о Борисе Тевьевиче Ниском. "Хочу еще раз хотя бы ТАК поклониться ему..." Я передаю ее слова. Борис Тевьевич был удивительным человеком. Эталон порядочности. Чистота ребенка. Мудрость зрелого, много пережившего человека. И поразительно светлая доброта...

Что ж, счастлива та женщина, которая может ТАК сказать о своем муже. Какой бы трудной ни была ее жизнь...

Амалия Самуиловна сказала, что не может позволить себе умереть. Потому, что пока жива она, жива и память о Борисе Тевьевиче. И она заставляет себя жить. И держаться на ногах. И ходить по улицам...